

---

## ПАТЕТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ «РУСЬ»

Перейдем к славянофильской поэзии, драматургии, когда славянофилы выступили уже носителями и пропагандистами определенной доктрины. Итак, они сложились уже как романтики «ретроспективной утопии». Эту утопию они блестяще (тут надо им воздать должное) пропагандировали своим творчеством.

Резкого разрыва связей с романтическим причетом не было. Переход к полному самоопределению произошел плавно. И все же особая осознанная программность новой славянофильской поэзии бросалась всем в глаза.

Славянофилам нельзя было отказать в особенной любви к России, ее могучей природе.

Полюса тематической амплитуды художественного творчества славянофилов обрисовываются следующим образом. На одном — историческое прошлое России, когда в единоборстве с пришельцами решался вопрос: быть или не быть Руси, и на другом — сегодняшняя полная сил Россия, однако озабоченная новыми вопросами: как лучше устроить русскую жизнь. Ответы давались самые пристрастные...

Два произведения наиболее характерны для этих исканий: драма Константина Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» (1848) и поэма Ивана Аксакова «Бродяга» (1859).

В обоих произведениях изображаются народ, его история, его внутренняя жизнь. Нельзя не согласиться с Аполлоном Григорьевым, обращавшим внимание на главную особенность славянофильской любви к народу: для них «народ» не просто носитель «смирения», «бараньей покорности», он был для них «верованием», величайшим художником, поэтом и «даже мыслителем»<sup>1</sup>. Конечно, это была тоже своего рода идеализация, только высшего порядка. Нельзя приравнивать Аксаковых к автору «Бориса Годунова» и к автору «Кому на Руси жить хорошо». Тут разные регистры и различная направленность идей.

В драматургическом отношении «Освобождение Москвы в 1612 году» Константина Аксакова не так далеко ушло от «Дмитрия Пожарского» М. В. Крюковского (1807). Стой драмы и пружины сюжета классицистические, но она вся расцвечена, с учетом опыта того же Пушкина, народными сценами. Есть в ней и эпический размах, и антибоярская гражданственность (образ Ляпунова), и документальность, повышающая внешний историзм, скрашивающая натяжки риторики.

Действие переносится из Москвы в Нижний Новгород и Ярославль, с Красной площади в дом Андрея Голицына, с Лубянки на Яузу, где станом расположились русские ополченцы. Среди тридцати с лишним героев — бояре, дворяне, купцы, мужики, казаки, стрельцы, поляки, прочие иностранцы. Есть попытка у Аксакова изобразить «соборного героя» — народ. И все же, функция народа — чисто декларативная, он только резонер, комментатор происходящего, сам же реальной силы не имеет и на действие никакого влияния не оказывает.

Константин Аксаков был настолько ослеплен собственным новаторством, что предуведомлял в «Москов-

<sup>1</sup> А. П. Григорьев. Соч., т. I. СПб., 1876, с. 524.

ских ведомостях», накануне премьеры в 1850 году, в чем именно он полагал важность своего сочинения. Заметка не подписана, но чувствуется, что ее написал сам автор пьесы. «Ход и содержание ее совершенно новы: его драма без героя и без завязки... завязка драмы — важное историческое событие; герой — вся совокупность действующих лиц»<sup>1</sup>. В предисловии Аксаков излагал свое драматургическое кредо: «Мне кажется, что вообще изящное произведение историческое (драма или повесть) должно быть художественным пониманием истории в известную ее минуту: драма должна быть верна относительно характера исторических лиц, эпохи и духа и значения». Но после Пушкина это были уже прописные истины: дело оставалось за их реализацией, за выяснением самого «художественного понимания» истории, «духа» эпохи и ее «значения».

Премьера в Москве была малоудачной, и спектакль не возобновлялся еще и потому, что пьеса была запрещена. Сохранилось любопытное цензурное дело. Оно показывает, как опасались власти попыток славянофилов по-своему живописать русскую историю, народные подвиги. Московский попечитель В. И. Назимов доносил для перестраховки в Петербург министру народного просвещения и начальнику Главного управления цензуры князю П. А. Ширинскому-Шихматову 18 декабря 1850 года по поводу привлекшей внимание упомянутой газетной заметки. Редактору «Московских ведомостей» (видимо, Е. Коршу) было сделано «строгое замечание» за неуместность аншлага о спектакле. Но петербургское начальство потребовало подробного отчета о спектакле, о котором уже поползли слухи.

---

<sup>1</sup> «Московские ведомости», 1850, 14 декабря. Сохранился текст заметки, написанный рукой сестры автора, Софьи Сергеевны Аксаковой: это лишний раз выдает семейную тайну рождения текста.

Чиновник бутурлинского комитета указывал: «Сама драма Аксакова, хотя и написана в духе православия, однако содержит в себе такие мысли, которые легко могут возбудить в простом народе враждебное расположение против высших сословий и вообще подать повод к превратным толкованиям». В доказательство цензор ссылался на монолог Ляпунова на стр. 69, 71: «Сочинение сие, по моему мнению, не должно бы быть допускаемо к печатанию в настоящем его виде и тем менее являться на сцене, где все указанные мною места становятся ощущительнее и могут вредным образом действовать на массу необразованных зрителей»<sup>1</sup>. Назимову, давшему разрешение на постановку спектакля, пришлось подробно отчитываться и характеризовать публику и то возбуждение, которое, как оказывалось, вызвала пьеса Аксакова. Назимов доносил 13 января следующего, 1851 года в Петербург: «...во время представления этой драмы на Московской сцене прошлого 14 декабря (какое дурное предзнаменование в датах, 14 декабря.—В. К.) был в театре большой шум. На все возгласы актера при порицании бояр раек кричал: «Правда, правда». Особенно слова: «Глас народа — глас божий» — вызвали сильные рукоплескания и громогласное одобрение райка»<sup>2</sup>.

Вспомним, что пьесу сыграли в самый разгар «страшного» семилетия царствования Николая I. А тут еще «громогласные одобрения райка».

Боярин Трубецкой бросает упрек думному боярину и воеводе Ляпунову: «Ты позоришь бояр, Прокофий Петрович». А тот разражается многословной тирадой, напоминающей публицистические статьи самого Константина Аксакова: «А отчего ж бы их не позорить, ко-

<sup>1</sup> Центральный Государственный исторический архив (Ленинград) — в дальнейшем сокращенно — ЦГИА, ф. 772, оп. 1, ч. 1, № 2529.

<sup>2</sup> Там же.

ли того стоят? Разве не бояре изменники? Разве не Салтыков и не Курakin, не Мстиславский, не Шереметев, не Лыков предают веру и землю. Это настоящие знатные роды; а вон как они шатаются да предательствуют. Так их не корить!» А после обмена репликами с Заруцким следует новый монолог Ляпунова: «Виноваты много бояре. Много возгордились они. На черных людей свысока смотрят; их только христианами называют; видимое дело, что сами уж стали не христиане. Горько это; забыли, стало, что все мы братья и все христиане, все мы одной матери дети, все мы братья и сродники по Христовой вере и по русской земле. Пусть один боярин — при нем его боярство, пусть другой воин — при нем его воинство, пусть еще третий земледел — при нем его земледелие. Но ведь сегодня он земледел, а завтра боярин, а боярин — завтра земледел. Это все как случится, и как приведется, и какой талант, и что бог даст, а непременное и вечное то, что все мы, сколько нас ни есть, все братья, православные христиане и русские люди. А это-то мы и позабыли... бог нас и карает... эй, не забывайте земли русской и народа. Больше правды с простым народом... Так народ-то вы, бояре, не презирайте и над народом не высътесь; ведь этим вы и сами себя осуждаете, и от братства себя отрываете. Не разрывайте земского союза, не забывайте народа...» Все это говорится на площади внутри стана, посреди оживленной толпы, казаки «ходят взад и вперед». А когда в другой сцене пришли послы со всех русских земель просить князя Пожарского возглавить ополчение, то присутствовавший при этом «мудрый дьяк» сказал: «Глас народа — глас божий» — слова, которые заставили всплеснуться нетерпеливый раек, а за ним всполошиться цензурное ведомство...

Замечательным событием, когда славянофилы вошли в круг современных интересов, была поэма Ивана Аксакова «Бродяга» (создавалась с 1846 по 1850 год, ча-

стично публиковалась в 1852, 1859 годах и полностью посмертно в 1888 году). В отрывках эта незавершенная поэма была известна современникам, обсуждалась ими и, наконец, подверглась гонениям со стороны властей<sup>1</sup>.

В поэме Ивана Аксакова изображается, как из деревни бежал крепостной парень по имени Алешка, бросив родителей и возлюбленную.

Корнил, бурмистр, ругается,  
Кузьма Петров ругается,  
И шум, и крик на улице,  
Три дня прошло, Алешки нет,  
Пропал Алешка без вести,

Нанявшись каменщиком на строительстве большака, Алешка заработал деньги, приоделся, досыта наелся. Потом, по совету бывалых людей, он захотел податься в вольную Астрахань. Аксаков набрасывает колоритные народные типы, красоту русской сельской природы. М. Горький вспоминал в «Детстве», какое большое впечатление произвел на него отрывок о дороге из этой поэмы, напечатанной в какой-то народной книге для чтения.

Прямая дорога, большая дорога!  
Простору немало взяла ты у бога,  
Ты вдаль протянулась, прямая как стрела,  
Широкою гладью, что скатерь, легла!  
Ты камнем убита, жестка для копыта,  
Ты мерена мерой, трудами добыта!..  
В тебе что ни шаг, то мужик работал:

<sup>1</sup> В цензорском донесении о «Бродягах» И. Аксакова — после публикации отрывков из поэмы в «Московском сборнике» 1852 года — было сказано: «Нельзя не заметить, что похождения бродяг и мошенников, взаимная их откровенность и советы друг другу, как избегать от рук правосудия, с обещанием в бродяжничестве приволья и ненаказанности, могут весьма неблагоприятно подействовать на читателей низшего класса, для которых означенное стихотворение доступно будет по слогу и занимательно по происшествиям, взятым из простонародного быта» (ЦГИА, ф. 772, оп. 1, ч. I, № 2819).

Прорезывал горы, мосты настилал;  
Всё дружною силой и с песнями взято,—  
Вколачивал молот, и рыла лопата,  
И дебри топор вековые просек...  
Куда как упорен в труде человек!

В III Отделении И. Аксакова спросили: «Объясните, какую главную мысль предполагаете вы выразить в поэме вашей «Бродяга» и почему избрали беглого человека предметом сочинения?» Аксаков отвечал: «Оттого, что образ его показался мне весьма поэтичным; оттого, что это одно из явлений нашей народной жизни; оттого, что бродяга, гуляя по всей России как дома, дает мне возможность сделать стихотворное описание русской природы и русского быта в разных видах; оттого, наконец, что этот тип мне, как служившему столько лет по уголовной части, хорошо знаком. Крестьянин, отправляющийся бродить вследствие какого-то безответственного влечения по всему широкому пространству русского царства (где есть где разгуляться!), потом наскучивший этим и добровольно являющийся в суд,— вот герой моей поэмы»<sup>1</sup>.

Замысел поэмы, как видим, был обоснован автором широко. Никем из литераторов не отмечались следы прямого влияния гоголевских «Мертвых душ» на Аксакова. Но это произведение произвело на Аксакова огромное впечатление. В письмах к родным в 1844 году из Астрахани он то и дело делится впечатлениями о произведении Гоголя.

И тема бродяжничества была отчасти навеяна Гоголем. В «Мертвых душах» говорится о том, как много числится русских крепостных крестьян в бегах, как они рвутся на волю, на Волгу. И фраза Аксакова на допросе: «...где есть где разгуляться» русскому человеку

<sup>1</sup> Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, ч. I, т. 2. М., 1888, с. 162—163.

«по всему широкому пространству русского царства» — в сущности, вольная цитата из Гоголя: «Что пророчит сей необъятный простор? ...Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?» («Мертвые души», т. I, гл. XI). «Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!..», бегут мужики, и ловят их, бродяг, и допрашивают капитан-исправники, и изворачивается беглый, и про пашпорт врет, и про оброк, и где был, и кто друзья его; и вот набивают бродяге колодки и ссылают куда следует. Тема поистине народная, нечего сказать<sup>1</sup>. «Абакум Фыров! — продолжает Гоголь,— ты брат, что? где, в каких местах шатаясь? Занесло ли тебя на Волгу, и взлюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам?..» (там же, т. I, гл. VII).

Отметим еще «гоголевские» места в «Бродяге», но для этого убедительнее обратиться к тексту Гоголя. «И в самом деле, где теперь Фыров? гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. ...вся веселится бурлацкая ватага... кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и понуканиях, зацепляя крючком по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот» (там же, гл. VII).

Красочное, с тем же веселым торжественным тоном, понуканиями и «крючниками» дано описание волжской пристани в поэме Аксакова:

---

<sup>1</sup> Она отразится и в «Антоне-Горемыке» Д. В. Григоровича (1847).

Гулом гудит, плеск волны заглушая,  
Пристань речная, людна и шумна.  
С криком и с бранью, и с дружным призывом  
До свету вставший трудится народ,  
Пестрым отсюду нахлынув приливом...  
Всем им работу река задает!  
Всем ты кормилица, матушка Волга!  
Видишь — какие грузятся суда!  
Крючники! к делу! Что возитесь долго?  
Хватят морозы — так будет беда!  
Время! Уж много артелей намедни  
В путь разбрелись, поделивши дуван;<sup>1</sup>  
С скоро и этот осенний, последний,  
С хлебом в путину уйдет караван!

Городская гостиница в поэме «в два яруса, известной желтой краски» — в точности Калужская, где останавливались Белинский и Щепкин в 1846 году (год начала работы Аксакова в Калуге над «Бродягой»). В «Мертвых душах» Чичиков въехал во двор гостиницы, «она была длинна, в два этажа; ...верхний был выкрашен вечною желтою краскою...».

Впервые в русской поэзии так подробно были изображены все характерности деревенской жизни: страда, заботы нищеты и труда.

Благоприятный день! крестьяне дорожат  
Такими днями сенокоса,  
И ни души в селе! разбросаны лежат  
Телеги, снятые колеса,  
Да по плетню кой-где развешано белье,  
Под ним разостланы полотна.

Это все увидено глазами человека, погруженного в крестьянский быт. Не глазами пушкинского просветителя, «друга человечества», который еще абстрактно-риторически говорит «об измученных толпах рабов», и не глазами лермонтовского героя, с раздвоенным «странным» чувством видящего проездом «дрожащие огни печальных деревень». Мы в самой деревне. С присущей

<sup>1</sup> То есть выручку.

славянофилам документальностью Аксаков вводит подлинные народные песни, семейно-бытовые, трудовые, которые поют крестьяне, возвращаясь с покоса: «Ившушка, ившушка, зеленая моя», «Ехали бояре из Нова-города».

Матвей Лукич, отец беглеца Алешки, так отбрил «подругивать охотницу», жену старосты:

«Молчи ты, ведьма старая,  
Виши, отощала, постница!»  
И гул пронесся хохота,  
Смеются все над бабою,  
Над бабою Пахомовной!

Купцы, попы, откупщики, мещане — все замелькало в поэме. Земский строчит донесение в суд: сыскать беглеца. Описано, как «земство обедает», как толпы ждут выхода начальства, как суют бумаги, просьбы. Это все — Россия, она увидена в низших социальных ярусах. Автор говорит о крепких узах круговой поруки, грабежа, которыми связаны чиновники, помещики, подрядчики, письмоводители (образ Макара Фомича и др.). Свой мир и у беглых: «А ты отколева?» — спрашивают они друг друга: из Вязников, владимирский, издалека, елабужский, из Дорогобужа, Ливн, Моршанска. И собрались они не на богомолье, как, например, в хомяковском стихотворении «Киев», где также перечисляются ходоки из разных русских земель, собрала их нужда, поиски заработка. Традиционные для романтических поэм разговоры юного героя со стариком, построенные на контрастах убеждений, настроений («Цыганы» и др.), здесь выглядят совсем иначе: это простой обмен опытом жизни, при общности судьбы. На большаке нищий получает разное подаяние, попадутся ли прохожие крестьяне или какой-нибудь Оболт-Оболдуев:

Крестьянин проходит — копейку подаст,  
Помещик проедет — ни гроша не даст!

Недаром эти два стиха цензура вымарала в поэме.

Аксаков одновременно с «натуральной школой», но независимо от нее рисовал «физиологию» городской жизни, ее «пояса», «вершины» и «углы», окраинные «стороны», с кабаками и нищетой.

Кварталы есть в богатых городах:  
Простым людям пришлись они на долю.  
Там вечно грязь на низменных местах,  
Там улицы уже выходят к полю;  
Там каменных не встретишь ты палат,  
Но всюду там гнилых и почерневших  
Ряды домов, от времени осевших,  
Или лачуг погнувшихся стоят:  
В них окна низки, стекла перебиты,  
Бумажками залеплены, прикрыты,  
А на углу, на вывеске иной  
Прочтешь слова: «Здесь вечно цеховой»  
  
Толпится там народ чернорабочий,  
Лихой в труде, до кабака охочий.

Тут нет Невских проспектов. Старик бредет из «губернии народной», то есть из Поволжья в Вилково на Дунай, и он учит Алешку, как пробраться в Астрахань. И тут свои приметы, лица, клички, явки, пароли: окольной надо идти до Самары, там будет Павлушка Растворчай, там бурлаки расскажут, там в кабаках состряпают билет, в Червонной же деревне Федька Косой выручит и в Астрахань направит. С необузданной разудальностью и дале путь прочерчен: а там гуляй хоть в Таганрог, в Ростов, а где остановиться надо, никто не знает.

Что гость в кабаке, то и подарок: цыгане, артели, с непокрытыми головами бабы, нищие, бывшие люди. Одна за другой рассказывают притчи и как Фома народ пить до пьяна научил, и о разорившем семью мещанине.

Кабак все шумнее, шумнее.  
Беседа пьяннее, пьяннее...

Это не «Вакхическая песня» Пушкина, с ее изящным аристократизмом: «На звонкое дно, в густое вино заветные кольца бросайте», — тут солнце навечно скрылось во тьме.

Уж стало темно,  
От пару не видно...  
Гостям не обидно,  
Не так уж и стыдно,  
Смелее оно!

Пародирована студенческая пирушка Языкова:

Боже! Вина, вина!  
Трезвому жизнь скучна,  
Пьяному рай!  
Жизнь мне прелестную  
И неизвестную,  
Чашу ж не теснью  
Боже, подай!

Но это уже не задорные гимны буршай, а только отзвеневшие их отголоски. Некрасов из всех этих мотивов построит свой «Пир на весь мир». Тут общее в свободном сочетании разных «тонов».

И Груня, которая пошла по кабакам, это не вызывающая сострадание героиня из романов Жорж Санд или из некрасовского стихотворения «Когда из мрака заблужденья...», это горе без исхода, такое горе, когда никто и руки не подаст. Многие типажи Аксакова ведут к «Нравам Раsterяевой улицы» Глеба Успенского и даже к пьесе «На дне» М. Горького в широчайшем аспекте.

Аксаков во второй половине 40-х годов в ряде мотивов предваряет сюжеты и темы Некрасова, автора «Железной дороги» и «Кому на Руси жить хорошо». Ведь у Некрасова шесть заспоривших мужиков тоже своего рода «бродяги», снявшиеся с места. И ритм отдельных стихов у Аксакова пронекрасовский, совсем еще необычный в тогдашней русской поэзии. Он слышится, например, в стихах:

Корнил, бурмистр, ругается,  
Кузьма Петров ругается и т. д.

В «Железной дороге» Некрасов будет обсуждать, вслед за Аксаковым, также вопрос: во что народу обошлась дорога, то есть Николаевская чугунка, скольких трудов и слез она стоила?

Но не будем преувеличивать значения всех этих связей Аксакова с будущим русской литературы. Он был ограниченным истолкователем затрагиваемых им тем русской жизни, у него везде видна славянофильская философия.

Аксаков приглушил главный мотив бегства своего героя: просто захотелось побродить, свет увидеть. На допросе в III Отделении, о котором мы уже упоминали, Аксаков так и объяснял, что его герой пустился в бродяжничество из-за безответного желания побродить. Он не навсегда ушел, он обязательно вернулся бы домой с повинной. Ничего о гнете помещика, бурмистра в поэме не говорится. Это, конечно, снижало социальное ее звучание. Аксаков верил в общинный смысл крестьянской жизни, был романтически настроен по отношению к патриархальным ее устоям.

Советы Гоголя, прослушавшего «Бродягу» в домашнем чтении у Аксаковых (в 1850 году), к сожалению, углубляли именно эту ошибочную линию поэмы. Это был «поздний» Гоголь, сам путавшийся в противоречиях своего мировоззрения. «Все подробности, вся природа, одним словом, все, что окружает бродягу... сделано превосходно». А дальше Гоголь советовал: «Если в бродяге будет сквачен человек, то он будет иметь не времменное и не местное значение. Надобно показать, как этот человек, пройдя все и ни в чем не найдя себе никакого удовлетворения, возвратится к матери-земле»<sup>1</sup>. Возможно, Аксаков так бы и сделал, если бы поэму за-

<sup>1</sup> Письмо С. Т. Аксакова к сыну И. С. Аксакову от 17 января 1850 г. Цит. по изд.: «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. I, т. 2, с. 267.

кончил: крепок русский мужик русской земле, духу общины, нет ему жизни вне мира. Тут и аксаковский ответ, кому на Руси жить хорошо и как хорошо мужику в общине. Исследователи А. Дементьев и Е. Калмановский правильно считают: «Всеми своими достоинствами... поэзия И. Аксакова обязана тому, что она во многом отступает от славянофильского правоверия и следует за самой жизнью»<sup>1</sup>. Славянофильская доктрина подчас губила самые смелые замыслы отобразить жизнь «меньшего брата».

Все многочисленные исповеди славянофилов на тему «Русь» можно уподобить патетической симфонии, построенной по законам своеобразного «контрапункта». Славянофилы не могли просто любоваться Русью, они усматривали символическое значение ее величия в каждой мелочи. Вид в Киеве с Владимирской горки на Днепр навевал Ивану Аксакову свои думы о «весне Руси»: Киев и Днепр — свидетели «чуда крещения», произведенного «без борьбы». Едет ли он по Владимирской земле на серные воды за Волгу лечиться, всюду перелески, чудо-луга, перекаты до горизонта; и чем дальше, тем природа богаче и мужик спрвнее, коренастый, живой, бодрый, умный, деятельный. Иван Аксаков не боится сказать «промышленный»: это слово еще не пугает его оттенком «индустриальности». Ему и невдомек, что мужики здесь богаче, чем в других местах, не случайно тут складывается новая Россия, край русского ситца. Писатель-демократ В. А. Слепцов потом опишет его в очерках «Владимирка и Клязьма» (1861). У славянофила — одни восторги.

С особенным чувством Аксаков всматривается в Муромские леса. Ведь тут где-то и Караварово, откуда вышел богатырь Илья Муромец. Полный «гордого доверия

<sup>1</sup> Иван Аксаков. Стихотворения и поэмы. М., «Советский писатель», 1960, с. 30.

покой» баюкает Аксакова: «Мир одолел всю русскую землю... Нельзя передать того впечатления, того чувства мира и простора (как счастливо выразился Константин Аксаков, поставив рядом эти слова)<sup>1</sup>, тишины, безопасности, доверчивости и силы»<sup>2</sup>. А вот и центр всего пейзажа-миража: «И посреди всего этого сидит на козлах, в одной рубахе, царь и господин всего этого, русский крестьянин: душа его свободно вмещает в себе эту природу...»<sup>3</sup>.

Как несходно это лирическое излияние с гоголевской «Русью-тройкой». У Гоголя и крестьянин-то сидит «черт знает на чем», телега схвачена одним гвоздем. Ирония у Гоголя снимает патетику, а пробуждение и вовсе отрезвляет: «Держи, держи, дурак», — предупреждает Чичиков своего кучера. «А вот я тебя палашом», — крикнул проскакавший мимо Селифана фельдъегерь. Аксаков убаюкивает себя и переходит к чисто славянофильской похвальбе: ни одна природа не может быть так хороша, как русская. В какой-нибудь Швейцарии, — продолжает он, — конечно, горы хороши, но как-то «односторонни»; в них «тесно»: как будто в России и гор нет, одни степи. «В русском поле трудно запеть другую песню, кроме русской; та же простота, та же бесконечность, и даль, и ширина, тот же мир и та же тихо и легко разнообразимая однообразность»<sup>4</sup>. Но Пушкину и Некрасову посреди этих же полей слышались песни подобные стону. Славянофилы же глухи к ним.

В стихотворении Хомякова «Русская песня» (первая половина 30-х годов) воспевается все та же великая земля Володимира, то есть Северо-Восточная Русь,

<sup>1</sup> Вероятно, имеется в виду послание Константина Аксакова к своему брату Ивану Аксакову (1846), где есть строки: «И мыслю я: когда так мирно цветут зеленые поля...» и проч.

<sup>2</sup> «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 1, с. 443.

<sup>3</sup> Там же, с. 444.

<sup>4</sup> Там же, с. 443.

явившаяся колыбелью возрожденного русского государства. Стихотворение восхваляет эту землю, которой никакой мор не страшен, где мужики богатеют, где в судах царит неподкупная правда. Страшится эта Русь только божьего гнева и суда. Она богата недрами, духовными ценностями! Эта Русь собрала вокруг себя остальные русские земли. И эти земли (Русь Малая, Русь Белая) объединяет ключ «веры ясной» («Ключ», 1835).

Так и поныне к древнему Киеву стягиваются паломники из разных русских губерний:

«Я от Ладоги холодной»,  
«Я от синих вод Невы»,  
«Я от Камы многоводной»,  
«Я от матушки Москвы».  
(Хомяков, «Киев», 1839)<sup>1</sup>.

В стихотворении «Сон» Константин Аксаков восславил предприимчивый старый Новгород как колыбель истинно русской самобытности. Поэту чудились картины чисто русской жизни, площади, полные народу, пестрые, забытые уже одежды, народный Собор. Здесь поют старые хвалебные миру и славе песни.

Впрочем, в своем кругу Константин Аксаков считался «почетным гражданином Москвы», и он по долгу чести и по убеждению считал себя обязанным воспевать великое значение Москвы в истории России. «И всю Россию называют // Великим именем твоим» («Москве», 1845).

Внешне может показаться, что поэты-славянофилы сумели поэтически отобразить одну из важных особенно-

<sup>1</sup> Это стихотворение очень понравилось Николаю I, наложившему на представленном ему списке резолюцию: «Недурно». С. С. Уваров, во всеподданнейшем докладе обративший на стихотворение «Киев» внимание царя, указывал, что Хомяков, «как кажется, мог бы один идти по стопам Пушкина, если бы постоянно занимался своим искусством», и что он своим «глубоким религиозным чувством» совершенно отличается от Пушкина. См.: «Русский архив», 1885, вып. 9, с. 159.

стей русской истории — преемственное значение столиц и центров культурного государственного и национального становления России. Однако это не так, и дело не только в том, что выстраиваемый славянофилами ряд — Новгород, Киев, Владимир, Москва — не завершался Петербургом, который они отрицали, но и в том, что смысл истории фальсифицировался.

Поэтому искусственно взвинченный патетический образ Руси — вседержительницы божьей благодати — постепенно тускнел у славянофилов. В стихотворении «России» (1839), начинающемся словами: «Гордись! тебе льстецы сказали», Хомяков уже скромнее. Под льстецами подразумевались, конечно, ревнители «официальной народности», от которых поэт хочет открыто отмежеваться. Но главное не в этом: Хомяков отказывается хвалить Россию за ее внешние богатства, природу, просторы. Он знает, что она «увенчана», опирается на «несокрушимую сталь», то есть на николаевские штыки. Все это теперь в глазах «зрелого» славянофила потеряло ценность. Хомяков хвалит Россию за ее духовную, внутреннюю чистоту, ее верность церкви, православию. В этом теперь он видит ее главное могущество, все остальное — «прах», «ничто».

Бесплоден всякой дух гордыни,  
Неверно злато, сталь хрупка,  
По крепок ясный мир святыни,  
Сильна молящихся рука!

Как уже отмечал исследователь Б. Ф. Егоров<sup>1</sup>, эпитет «гордый» выступает в лирике Хомякова в отрицательном значении, эпитет «смиренный», наоборот, выражает положительную сущность славянофильского учения.

Россия, принявшая в себя «глагол творца», в которой есть «и правда и бескровный суд», имеет ясное

<sup>1</sup> А. С. Хомяков. Стихотворения. Л., 1969, вступительная статья, с. 42—43.

предназначение указать путь западным странам, растерявшим религиозное благочестие под ферулой католического Рима.

Хомяков был трезвеем многих славянофилов-сократий и не мог откровенно прекраснодушествовать. Слишком влиятельным был в эти времена напор критической, обличительной деятельности «гоголевского направления» в литературе. Сначала Хомяков разглядел многие непорядки в обожаемой Древней Руси. В стихотворении «Не говорите: «То былое, то старина, то грех отцов...» (1844) он перечислил множество преступлений, измён, казней, которыми отягощена история России. Наши предки,upoенные враждой, не стеснялись звать чужие дружины на погибель русской стороны, разоряли вольный Новгород; московские князья запятнали себя двоедушием в политике, Иван Грозный убил собственного сына. В записке «О старом и новом» Хомяков, как мы помним, все эти темные стороны древней русской жизни излагал только как возможное и уже сложившееся западническое мнение, как допущение, опровергаемое другим мнением, о Руси. Теперь он перечисляет эти злодеяния без оговорок и сам присоединяется к трезвой правде. Более того, его собственная мысль отыскивает и более глубокие преступления князей и царей.

Преступление есть и в сознательно поддерживавшемся сверху «сне умов», в «гордости темного незнанья». Самый же тяжкий грех, с точки зрения Хомякова-славянофила, заключался в следующем: этот грех наследовали потомки князей и бояр, нынешние помещики-космополиты:

И, обуяв в чаду гордыни  
Хмельные мудростью земной,  
Вы отреклись от всей святыни,  
От сердца стороны родной.

Константину Аксакову не понравился этот критический пафос Хомякова по отношению к Древней Руси,

и он написал опровержение «Поэту-укорителю» (1845). Аксаков считал, что Русь уже омыла покаянием все свои грехи. Не следует укорять «тяжко стонущий народ», народ — хранитель святыни. Однако Хомяков и не говорил о народе, он имел в виду только царей, бояр, дворян. Народ — их жертва. А призывы Константина Аксакова: «Нет, к нам направь свои укоры», «нас к покаянию зови», нас — дворян, привилегированные словения — отвечали и стремлению Хомякова.

Следующим звеном в симфонии «Русь!» было послание Хомякова «России» (1854), написанное во время Балканской войны. Казалось, история сама предоставила случай для осуществления давних желаний славянофилов, чтобы Россия выступила против турок со своей миссией освободительницы южных славян. Начиналась «брань святая». «Вставай, страна моя родная», — призывал Хомяков<sup>1</sup>.

Россия предстает отягощенной многими грехами. Хомяков уже не хочет этого скрывать:

В судах черна неправдой черной  
И игом рабства клеймена;  
Безбожной лести, лжи тлетворной,  
И лени мертвой и позорной,  
И всякой мерзости полна!

Эти сильные строки, направленные против крепостного рабства и всего растления, которое ему сопутствовало, произвели глубокое впечатление на читающую Россию. Стихотворение Хомякова ходило в списках. Герцен напечатал отрывки из него в «Колоколе». Т. Г. Шевченко переписал стихотворение в своем днев-

<sup>1</sup> Может быть, в этой строке был услышан мотив той песни, которую сочинил В. Лебедев-Кумач в первые дни Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии: «Вставай, страна огромная...». Мы говорим о чисто формальном, поэтическом совпадении; в идеологическом же отношении это, конечно, совсем разные произведения.

нике 1857 года и назвал его «глубоко грустным». Власти грозили Хомякову высылкой из Москвы.

Нередко в современных дискуссиях это стихотворение приводится как самый крупный козырь в «пользу» Хомякова: вот какой он был обличитель. Обличение действительно сильное. Это пятистишие стало классическим, оно поражает падениями своих кадансов, как стопудовых гирь, тянувших вниз чашу весов неумолимой Немезиды. И все же пафос этого стихотворения — покаяние ради великой цели — в общем реакционный: «О, недостойная избранья, // Ты избрана!» Россия должна покаянием очиститься от грехов, чтобы тем самым лучше, с еще большим правом исполнить свою миссию. Быть «орудием бога» нелегко, но господь тебя «полюбил», «тебе дал силу роковую», чтобы сокрушить турок:

Держи стяг божий крепкой дланью,  
Рази мечом — то божий меч!

Но Севастополь развеял все эти надежды в прах. В конце жизни, как бы уже не зная, к чему привязать «чистую идею» православия и благочестия вообще, Хомяков пишет ряд стихотворений на библейские темы, полагая найти эту чистоту в истоках христианства, первых его утренних благовестах. Там он черпает и веру в конечную победу дела Христа. Реальная история оказывалась для него крайне неуютной, в том числе и русская история («Навуходоносор», 1849; «Мы род избранный,— говорили...», 1851; «Воскресение Лазаря», 1852; «Широка, необозрима...», 1858, и др.). Но и библейские сюжеты были полны страстей и противоречий...

Жизнь снова теснила славянофилов, заставляла признавать, что реальное положение вещей в России безрадостно и все меньше и меньше дает поводы для радужной идиллии. «Безмолвна Русь: ее замолкли города...», — грустил Константин Аксаков.

С презрением народ и русский человек  
Клеймится именем невежды..  
Одежда русская — в наш просвещенный век —  
Есть угнетенного одежда!

(1846)

Русь, как она мыслилась славянофилами, исчезала на глазах, патетическая симфония начинала превращаться в элегию, в плач по России.

Со всей слепотой фанатика Константин Аксаков проповедовал «возврат» к прошлому. Одно из его стихотворений так и называется «Возврат» (1845). Он считает преступлением то, что просвещенные дворяне забыли о России: «Мы бросили отечество свое», «пленелись чужою землею». Теперь «пора домой!». Снова и снова сочинялась призрачная утопия, чтобы тут же развеяться, как дым.

Константин Аксаков искал последнюю опору в самом народе, в крестьянине. Выражал скорбь по поводу его «угнетенного» положения. Со всей искренностью хотелось послужить народу.

Все откинул решительно я,  
Взяв в замену труд жизни народной  
И народную скорбь бытия.

Пусть же людям весь мир разнородный  
И любви и всех радостей дан.  
Счастье — им! — Я кидаюсь в народный,  
Многобурный, родной океан!

(«9 февраля», 1848)

Эта декларация — важная ступенька в развитии русской гражданской поэзии и в особенности старой хомяковской темы России. «Земля Володимира» обернулась народом без бояр; не праведным судом и достатком, а горем и нуждой. В обработке этой темы у К. Аксакова появилась особенная демократическая интонация, неожиданно по ритмам напоминающая Некрасова, кото-

рый тогда сам еще только складывался как поэт революционной демократии.

Но там, где ветхая лачуга,  
Где честный обитает труд,  
Где сталь косы, серпа и плуга,  
Где песни старые поют;

Куда не вкрадася измена  
И не вошли ее дары;  
Где только цепь чужого пленя,  
А не богатство и пиры,—

Оттуда дух грядущей жизни  
Возникнет, полный сил благих,  
Подаст свободу вновь отчизне  
И разорвет оковы их!

(«Н. Д. Свербееву», 1847)

Но взглянемся пристальнее в контекст. Мы убедимся, что громкие слова о свободе от крепостничества, об инициативе народа в борьбе только преддверие к более важной для Аксакова идее о свободе, сущность которой, по его мысли, в разрыве с «пленом», то есть с послепетровскими нововведениями. Перед нами снова и снова сведение старых счетов с «подражательностью» правящих верхов во имя «самобытности» народа. Аксаков сам напоминал об ограниченном смысле своей гражданственности: да, никто его слияние с народом не спутает с западным либерализмом. На автографе стихотворения «9 февраля» имеется примечание: «Последней части стихотворения («Я кидаюсь в народный, многобурный родной океан!» — В. К.) не надо никак понимать в западном смысле. Напротив: борьба с Западом есть одно из главных. Кроме того, сам вопрос стал глубже и строже. Основное есть дело — нравственное, христианское. Надо помнить, что в русской жизни проинсится: земское и божие дело»<sup>1</sup>. Это «дело» сковы-

<sup>1</sup> Цит. по примечаниям С. И. Машинского в изд.: «Поэты кружка Н. В. Станкевича». М.—Л., «Советский писатель», 1964, с. 596.

вает динамику и других смелых, фронтальных стихотворений Аксакова. Например, такого, как «Грустно видеть, как судьба порою...» (1857) и др.

Но грустней, когда лежит тяжелый  
Мрак на жизни целого народа,  
И живет он скорбный, невеселый —  
Силам нет свободного исхода.  
Он раскрыть даров своих не смеет;  
Смутно он свое призванье внемлет,  
Слово робко на устах немеет,  
Ум во тьме, душа пугливо дремлет.

Но пробуждение народа Аксаков надеется получить от «прорицания», а осознавший свои силы народ возблагодарит судьбу и пойдет в мир «славить бога». Нет у Аксакова никаких других идей, кроме замирения сословий. Он не призывает вслед за «большой» русской литературой окунуться в море народной жизни, покарать угнетателей народа, восславить его свободолюбие. Аксаков искренне не знает, что ему делать со своим альтруизмом, как и народ у него не знает, что ему делать со своей свободой. Патетическая симфония «Русь!» не получилась, она оказывалась ложно величавой, ложно поэтической затеей.

Параллельно с симфонией о России славянофилами разрабатывалась и тема общеславянской жизни и солидарности<sup>1</sup>.

Здесь также все начато в мажорных тонах, все о той же России — «ключе», у которого сойдутся рано или поздно все славянские народы, о России — «орле»,

<sup>1</sup> Стремление быть «поэтами славянства» надолго сделало их предметом апологетики в старых, дореволюционных работах: см., например, работы, вышедшие к 100-летию рождения Хомякова: Веди-Како. (Кораблев В. Н.). Памяти А. С. Хомякова.—«Известия С.-Петербургского славянского благотворительного общества», 1904, № 1; Д. Михайлов. Алексей Степанович Хомяков.—В кн. Михайлова «Очерки русской поэзии XIX века». Тифлис, 1904, и др.

который приосенит своими крыльями все эти народы.  
Таковы стихи Хомякова «Ода» (1830), «Орел» (1832):

И хлад сердец единокровных  
Любовью жаркою согрей!

Славянофилы напоминали о дорогом чувстве: Россия не имеет права забывать о братьях славянах, которые в ущельях Карпат, Альп, в балканских лесах ютятся и ждут освобождения. Но тут слиты были две разные идеи: объединение Москвой исконно восточнославянских земель, собирание Руси и реакционные пополнования царизма, жаждавшего прихватить в XIX веке южнославянские и западнославянские земли.

Пожелания Ивана Аксакова при известном допросе в III Отделении в 1849 году, чтобы русские люди способствовали освобождению славян от турецкого, австрийского гнета, вызвали возражения царя: «...под видом участия к минимуму утеснению славянских племен таится преступная мысль о восстании против законной власти соседних и отчасти союзных государств и об общем соединении, которого ожидают не от божьего произведения, а от возмущения, гибельного для России!..»<sup>1</sup>.

В 1860 году, в Лейпциге, славянофилы опубликовали книжку «К сербам», послание из Москвы с сербским переводом<sup>2</sup>. Это был документ в связи с давними размышлениями о братьях славянах и последними событиями в Сербии, изгнанием в 1858 году Александра Карагеоргиевича и вторичным возвращением князя Милоша. Славянофилы навязывали свою доктрину другим славянским народам, подавали неуклюжие советы. Сер-

<sup>1</sup> См.: «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. I, т. 2, с. 154—155.

<sup>2</sup> Письмо подписано почти всеми московскими славянофилами: Алексеем Хомяковым, Михаилом Погодиным, Александром Кошелевым, Иваном Беляевым, Николаем Елагиным, Юрием Самарином, Петром Бессоновым, Константином Аксаковым, Петром Бартеневым, Федором Чижовым, Иваном Аксаковым.

бам делали предостережение не подпасть под влияние западной «гордости», не советовали военными средствами добиваться свободы (вспомним укоры Хомякова Рылееву насчет незаконности восстаний). Доказывали, что попытка даже великой России воевать с Турцией из-за славян привела к ошибкам, к сдаче Севастополя. Высказывали пожелания действовать не насилием, а мирными средствами. Надо блюсти единство в православии, проникаться его нравственностью, не утрачивать равенства, воспитанного патриархальностью, не вдаваться в соблазны сделаться европейцами, хранить обычай и веру предков, презирать роскошь, вести суд по справедливости и совести (как в земле Володимира). Община, сходка — гарантии этого; славянофилы призывали сербов сохранить свободу мнений, уважать своих пастырей, особенно духовных<sup>1</sup>.

Все это были, разумеется, голые призывы. Жизнь, однако, шла по своим законам. Сербы брались за оружие, классовое расслоение шло полным ходом.

Пришлось славянофилам и в этом общеславянском вопросе уступать шаг за шагом свои позиции. Все менее учительской становилась их поза, скромней проповедь. Все меньше верили они в официальные аргументы самодержавной власти, все больше брали на себя.

Очень характерно в этом отношении стихотворение, в котором продолжалась тема первого послания «России» (1839):

Не гордись перед Белградом,  
Прага, чешских стран глава!  
Не гордись пред Вышеградом,  
Златоверхая Москва!

Собственно, тут нет уже «старшего брата», наоборот: «все велики, все свободны». Славянских братьев можно удержать в дружбе только «верою одной». В стихотворении Хомякова «Беззвездная полночь дышала прохла-

<sup>1</sup> А. С. Хомяков. Соч., т. I. М., 1911, с. 373—404.

дой...» (1847) светским пастырям предпочтитаются духовные пастыри «в старой одежде святого Кирилла», лишь бы они соблюдали старый закон. Эти-то пастыри и объединяют народы:

И клир, воспевая небесную славу,  
Звал милость господню на Западный край,  
На Лабу, Мораву, на дальнюю Саву,  
На шумный и синий Дунай.

Звучные, красиво сложенные стихи! С чисто поэтической, формальной стороны ничего предосудительного о них не скажешь. Но они только памятник прекраснодушных исканий и заблуждений славянофилов.

На всех этапах построения симфонии о Руси и о славянстве вообще «контрапунктом» для славянофилов был Запад или олицетворение его — «несчастный Альбион». Мир истосковался по подлинному величию, жаждет «властительной мысли и слова». Разумеется, в пику Западу таким очагом властительного слова, по Хомякову, должна выступить Россия («Еще об нем», 1841).

И все же коварный Запад, и в частности Альбион, брали свое. Сам Хомяков дрогнул, когда в 1847 году посетил Англию. Он опубликовал свой очерк о ней в «Москвитянине» (1848, № 7). Что же случилось? Хомяков поверил в Запад? Англия обернулась для него как страна, в которой «благоговеют перед своим величием»; «тут вершины, да зато тут и корни», прихотливо сочетаются в Англии и новейшие чудеса техники и самые дремучие предания. Последнее всего дороже Хомякову. Консервативная, торийская Англия его очаровала. Удивительное дело: заочно он ее ругал, а посетив, пересмотрел предвзятое мнение. Хомяков находил много сходства между Москвой и Лондоном: в них чтут старину, у обоих все еще впереди, о той и другом мало известно миру, больше рассказывают были и небылицы. Образованный Хомяков, сам говоривший свободно по-английски, в ослеплении этимологических исканий

всерьез уверял, что название «англичане» происходит от «угличане»<sup>1</sup>.

Понятие «торизма» приобрело у Хомякова широкое историческое значение и в незавершенном труде по всемирной истории, условно названном современниками «Семирамидой»<sup>2</sup>, Хомяков «торизмом» увенчивал (как Гегель развитие всемирно-исторического абсолютного духа — «прусской монархией») все здание развития человечества. Даже для России была уготовлена эта высокая ступень, разумеется, в некотором преобразованном смысле. Тут Хомяков незаметно для себя, хотя, как ему казалось, чрезвычайно логично, сдавал свои позиции в учении об особой провиденциальной роли православной России в судьбах человечества. В «Семирамиде» Хомяков ввел два псевдонаучных, искусственных

<sup>1</sup> А. С. Хомяков. Полн. собр. соч., т. I. М., 1911, с. 122.

<sup>2</sup> Название «Семирамиды» труд Хомякова по истории получил случайно. Он никому не показывал своих мелко исписанных тетрадок. Однажды Гоголь застал его за работой и, подойдя к рукописи, прочел первое попавшееся на глаза слово: Семирамида. Гоголь тут же в шутку и весь труд окрестил «Семирамидой». С тех пор в славянофильском кругу хомяковский труд получил такое название. У самого автора он никак не озаглавлен. Советские исследователи еще не касались вплотную «Семирамиды» Хомякова, она выпадает из их поля зрения, а между тем она дает материал для уяснения глобального характера романтизма славянофилов и комментирует некоторые стороны их общественной «литературной» позиции. Следует согласиться с таким выводом Н. Рязановского: «История осталась незаконченной, природа и цель неясны. Некоторые ученые считают ее собранием случайных заметок, которые Хомяков записал, чтобы угодить своим друзьям, которые требовали, чтобы он свои мудрые мысли, высказываемые устно, записал бы на бумаге. Другие утверждают, что свою «Историю» Хомяков употреблял в первую очередь в качестве источников материала для своих теологических сочинений. Оба мнения судят о произведении ложно и игнорируют то значение, которое сам Хомяков и другие славянофилы отводили «Семирамиде». Это была попытка величайшего синтеза знаний о судьбах человечества, намерение привести в ясность течение и смысл мировой истории (N. V. Riasanovsky, указ. соч., с. 67). Но попытка эта не увенчалась успехом.

понятия «иранизма» и «кушитства», определивших исходные начала, вечную борьбу «свободы» и «необходимости». «Иранизм» — начало позитивное, жизнеутверждающее, миротворящее, которое в конечном счете породило в истории Византию, православие, Русь, общину, славянофильское движение, английских тори и вообще всякое органическое созидающее развитие, синтез разнородных начал. В противоположность ему «кушитское» начало (по имени библейского Куша, сына Хама) таит в себе вечные раздоры, все и вся разъедающий анализ; это начало породило Древний Рим, католицизм, наместника бога на земле — римского папу, Западный мир, русское западничество, рационализм, протестантство, английских вигов, развитие права личности, революции<sup>1</sup>. Торизм и община у Хомякова родственные

---

<sup>1</sup> Подробное объяснение терминов «иранизм», «кушитство» и их практического применения у Хомякова см.: В. З. Завитневич. Алексей Степанович Хомяков, т. I, кн. 1. Киев, 1902, с. 445—561. О Кусе см.: П. А. Тураев. История древнего Востока. М., Изд.-во АН СССР, 1936, т. I, отд. «Источники», с. 7 и указатели в обоих томах.

Есть в монографии Н. Рязановского несколько ценных замечаний о Кусе и о «Семирамиде» Хомякова: «Хомяков называл первый принцип «иранским» и второй «кушитским», так как верил, что его первоисточником, родиной была Эфиопия; и Библия называет Эфиопию Кушем». (См.: N. V. Riasanovsky, с. 68.) Н. Колупанов в своей «Биографии Александра Ивановича Кошелева» указывает: Хомяков свой взгляд на Эфиопию как колыбель древней цивилизации заимствовал у Диодора Сицилийского (М., 1892, т. II, с. 185). Тот же Н. Рязановский привел убедительные доказательства зависимости эклектической и полной фантастических догмаслов работы Хомякова от «Философии истории» Ф. Шлегеля. Оба автора опираются на библейские легенды, сопоставляют пути различных рас, пошедших по праведному и по ложному пути: «Шлегель подчеркивает связь между расами, потерявшими бога, и Каином, Хомяков выдвигает связь между кунитами и Хамом» (с. 195). Общий вывод Н. Рязановского такой: «Хомяковская «История» была так же и по методу, как и по содержанию, типичным продуктом романтического времени» (с. 204).

понятия, и общине предстоит усовершенствовать русскую жизнь, поднять ее до уровня современного респектабельного «торизма». Удивительно, как Хомяков умел при помощи натяжек строить целые сколастические соборы и, откалывая в истории все консервативные формы, ждать от них возрождения и новой жизни.

С радужными, студенческими надеждами, как шеллингианец и гегельянец, стремился Константин Аксаков в землю обетованную, в философскую Германию, родину Шиллера, который пел «прелестной Тэкли идеал» и Валленштейна «непостижимого». Стихотворение «Путь» (1835) построено, как гетевская песнь Миньоны, хорошо известной тогда в московских кружках, с рефреном: «Dahin! Dahin...» («Туда, туда...»)

Но вот прошло всего восемь месяцев, повидал Константин Аксаков чужие края. В стихотворении «Возврат на родину» (1835) он выражал свое разочарование: «Убитого душой, прими меня к себе, моих отцов пустынная обитель». Через год стихотворение, так же начинающееся с «Туда, туда...», зовет уже в «чудный, светлый край», который далек от «коварной земли», этот край — мир вымысла, утопии. Философски Аксаков развил свои устремления к идеалу и в стихотворении «К идее» (1842).

Константин Аксаков посыпал подробнейшие письма родным из Германии, из которых явствовало: все увиденное в чужой стране его гнетет, помолившись на могилах Гете и Шиллера, он оглядывается окрест себя с грустью. Глухой ко всему, он слышал только самого себя; одно за другим следовали странные заявления: «Пруссаки народ образованный, бодрый, но в них нет этого ума, этой силы, какие видны в русском народе» (29 июня), «больше талантов дано русскому, нежели немцу, но в том и состоит заслуга и преимущество последнего, что он развил, обработал все это данное ему...» (11 июля). Наша история — впереди, нечего

смущаться сегодняшним расцветом культуры в Германии; «Много лежит в душе русского человека, и глубже и лучше западных народов поймет он их же плоды науки и искусства. О, это я живо, живее чувствую здесь!»<sup>1</sup>

Все эти пророчества были чисто субъективными видениями, и их целиком надо оставить на совести самого «неисправимого» Константина Аксакова и других славянофилов.

Однако протесты славянофилов против засилия иностранцев в русском государственном аппарате, критика космополитической ориентации царского двора были справедливыми, и в этом их поддерживали прогрессивные деятели русского общества.

Можно вполне согласиться с иронической записью в бумагах Марии Васильевны Киреевской о русском дипломатическом корпусе, состоящем преимущественно из иностранцев. Заметка, вероятно, относится к 50-м годам. «Как странно звучат,— читаем мы там,— эти имена в ушах наших Мейendorffов, Медемов, Бруновых, Шридеров, Николаи, Струве, Мальтицей, Будбергов, Пощо ди Боргов, Дюгамелей, Мочениго, Нессельродов, Эбелингов, Бахархатов и прочих представителей русского начала и русских интересов при европейских дворах, этих пламенных патриотов, которые на одних подметках семи царям прослужить готовы»<sup>2</sup>.

К сожалению, славянофилы не давали себе труда разбираться по существу, каковы были эти иностранцы, полезны ли они России. Склонный к крайностям, Константин Аксаков решал все в пользу «русского». Любопытен рассказ А. С. Хомякова, записанный его до-

<sup>1</sup> ИРЛИ, ф. 3, оп. 12, № 38. Частично выдержки из писем опубликованы в работе С. А. Венгерова «Передовой боец славянофильства Константин Аксаков».— В собр. соч. С. А. Венгерова, т. III. СПб., 1912, с. 33.

<sup>2</sup> ЛБ, ф. Елагиных, № 15, ед. хр. 56.

черью. Однажды произошел спор между славянофилами по вопросу о том, кто кем бы желал быть, если бы не был русским, Хомяков сказал, что англичанином. «Но когда дошла очередь К. С. Аксакова, он сказал, ударяя по обыкновению по столу: если бы я не был русским, я бы желал им сделаться»<sup>1</sup>. В устах славянофила нельзя этот патриотический порыв принимать за чистую монету: быть «русским» для него значит попрать других... Другие — только хуже... Из этого порыва ничего полезного для России не произрастало. По-другому ставили вопрос о «национальной гордости» русские революционеры и демократы от Радищева до Чернышевского...

---

<sup>1</sup> ГИМ, ф. 178, ед. хр. 1, л. 68 и об.